PG3476
.A52
S6

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3476
.A52
S6

This book is due at the LOUIS R. WILSON LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.
Form No. 513			

Digitized by the Internet Archive
in 2026 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/slavnovdvor00andr

ВАС. АНДРЕЕВ

СЛАВНОВ ДВОР

«ПРИБОЙ»

А. Литвиненко.

EL
C

PG3476
.A52
S6

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

SLAVNOV DVOR

СЛАВНОВ ДВОР

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ"
ЛЕНИНГРАД — 1927

PRINTED in U.S.S.R.

Ленинградск. Гублит № 43193. Тираж 6000—6 л. Заказ № 1218.
Гос. типография им. Евг. Соколовой, просп. Красн. Командиров, 29.

I

В ДОМЕ СЛАВНОВА

Родители Вени Ключарева двадцать с лишним лет в доме Славнова прожили. И все в одной квартире, номер — тридцать.

Бывает такая оседлость, привычка у людей.

Квартира — тридцать, окнами во двор, но светленькая, веселая: четвертый этаж, и сторона солнечная.

Коридор только темный, страшный.

По коридору этому Веня стал без опаски с девяти лет ходить. А раньше, днем и то бегом, с бьющимся сердцем.

Вечером же, бывало, ни пирожным ни шоколадом каким и мармеладом не соблазнить. Не пойдет!

Славнов двор казался Вене огромным, рябым, серым полем, с двумя дорожками.

Дорожки эти — панели, от двух лестниц до ворот.

Остальные же три лестницы без дорожек, так.

В конце двора, далеко-далеко, у кирпичной, нештукатуренной стены, бревна-дрова сложены до второго почти этажа.

По утрам и вечерам их колол большущим, больше Вени и других славновских ребятишек, топором богатырь в белой рубахе, с засученными рукавами.

Колол не так, как колют, — ну, взять да колоть,—а забивал железный клин, долго звонко стучал топором по клину, и с треском разваливалось потом толстое бревно.

Веня, осенними, дождливыми днями, когда не пускали гулять, подолгу смотрел на работу богатыря. Даже приучился по звуку топора узнавать, когда бревно не поддается и когда скоро развалится.

Потом прибегал мальчуган, брал в охапку наколотые дрова и уносил куда-то.

Веня решил, что мальчуган — сын богатыря, будущий богатырь, и дрова им нужны для варки пищи в больших богатырских котлах.

Варят же они, конечно, целых быков.

Но когда Веня подрос — богатырь богатырство свое потерял. Оказался худощавым и невысоким вовсе, обыкновенным мужичонкою, клинобородым, вроде пахаря из хрестоматии, там, где: „Ну, тащися, Сивка".

И — как узнал из разговоров с ним Веня — никаких он богатырских подвигов не совершал: со Змеем-Горынычем не дрался, о Соловье-Разбойнике слыхом не слыхал и не крал прекрасных царь-девиц.

И имя у него было не Илья, не Добрыня и не Еруслан, а совсем не богатырское — Харитон.

И мальчуган, прибегавший за дровами, вовсе не был ему сыном.

А оба они из овощной и хлебопекарни Малышева из Славнова же дома: Харитон — пекарь, а мальчуган Ванька — лавочный мальчик.

Узнав все это, Веня почувствовал недовольство и как бы досаду и против Харитона и Ваньки, точно они были в чем-то виноваты: надсмеялись или обманули его.

Многое, что в детстве кажется необычайным, таинственным или страшным, но всегда одинаково красивым и интересным — с годами теряет красоту, тускнеет, точно выцветает от времени.

Как обои. Оклеют комнаты: стены — яркие, цветочки розовые или какие синие. И пахнет от стен весело. А потом запах теряется. Цветы, как будто настоящие, — увядают, бледнеют, а потом еле-еле их различаешь.

Чем больше проходило времени, чем больше рос Веня — все менялось.

На что уже — двор славновский.

Когда еще только первый год стал Веня ходить в начальную — „в память св. св. Кирилла и Мефодия, первоучителей словенских" — школу, двор славновский стал значительно меньше: раньше от лестницы до ворот было пятьдесят четыре и даже пятьдесят пять шагов, а тут — тридцать семь неполных.

От этого грусть какая-то, недоверие к прошлому и обида: точно насмеялся кто, обманул.

Одно лишь волновало в прошлом и не забывалось с годами — радостные, светлые какие-то дни.

Может, и не дни, а мгновения, минуты.

И не событиями какими особенными были они памятны — нет!

События запоминаются как события, а все, что их сопровождает, — неважно, бледно, не памятно.

Помнилась радость о с о б е н н а я, беспричинная.

Помнил Веня, как однажды, еще маленький, 3—4-х не больше, забрался на окно в кухне, — с ящиком такое окно было, кухонное.

А напротив, на таком же ящике лежали пучок редиски и огурцы, — два огурчика.

И от солнца ли, или мокрые они были — так блестели радостно, будто смеялись.

Так и подумал тогда: „Огурчики смеются".

И в восторге запрыгал на подоконнике. И не выдержал. Не мог один упиться этой радостью, весельем, восторгом — слишком много радости этой, восторга, было.

Побежал в комнату, к матери.

Ухватил ее, удивленную, за юбку:

— Мамочка! Мама! Огурчики, ах... Пойдем!

Не мог объяснить на бедном детском своем языке, задыхался.

И все тащил:

— Пойдем!.. Кухню... Огурчики... Пойдем!

Целовала, потом, смеясь, мать.

Купила ему два таких же огурчика зелененьких, свеженьких.

Но радость прошла.

Помнилось: капризничал весь день.

И грустно было.

Первый раз — грустно.

Помнил долго первую эту грусть, помнил много лет спустя.

Как и радость ту, первую, помнил.

Но радость бывала все-таки чаще.

И такая радость, особенная.

И просто радость — веселье, от событий интересных, веселых.

Событий, особенно весною и летом, когда весь двор на виду, много.

Одних торговцев переходит — не счесть.

Чего только не кричали:

— Швабры половые, швабры!

— Клюква подснежная, клюква!

— Селедки голландские!

Это — бабы. И голоса у них разные.

У торговок швабрами — недовольные, сиповатые, напоминающие иногда квакание лягушек. У тех, что с клюквою — ласковые, сладенькие. И слово: „подснежная" — особенно располагало.

У селедочниц — унылые, гнусавые. И руки, стянутые лямками корзинок, уныло висят.

Рано утром, просыпаясь, Веня, маленький еще, удивлялся, почему торговец во дворе знал, что он спит.

— Что спишь? Что спишь?

Но после оказалось, — тот продавал штокфиш — рыбу.

Мужчины-торговцы интереснее женщин: разный у них товар.

— А вот ерши, сиги, невска лососина!

— Костей, тряп! Бутыл, бан!

— Сиги копчены!

С невской лососиной особенно нравились и с копчеными сигами. Такие веселые голоса — прелесть!

Это утренние торговцы.

А с полдня: „цветы-цветочки“, „мороженое“ по десяти раз и „садова земляника“.

С земляникою мужики бородатые, в красных рубахах с горошинами — вроде разбойников или палачей. Широко вздувались рукава. А на голове, на длинном лотке — корзинки с яркими ягодами. И, как рукава,— красная, с горошинами, вздувалась ситцевая покрышка над лотком.

Всё — от рубахи до ягод на лотке — яркое, красное.

Красивые — мужики-земляничники.

Много — татар-халатников. Их дразнили „свиным ухом“ или спрашивали:

— Князь, а князь, не видал ли ты пса-татарина?

Бывали не повседневные, а редкие события.

Пьяный наборщик Селезнев окна бил у себя в квартире.

У чиновника Румянцева сынок утонул, Володя.

Страшный был день, осенний.

С Петропавловской из пушек палили. Наводнение было.

Володя, как оказалось после, воду бегал смотреть на Фонтанку (от Славнова дома близко).

И как-то, вот, утонул.

Страшный был день.

Ветер зловеще выл, и потерянно стонали флюгарки на трубах.

Серые тучи катились быстро и низко.

Косой, колкий дождь хлестал.

И вдруг, голос во дворе, дворника Емельяна голос:

— Барин, а барин!

Тревожный голос. Тревожный и потерянный, как стон флюгарок.

Емельян кричал во второй этаж чиновнику Румянцеву:

— Барин, а барин! Ваш мальчик... Уто-о-п!

Это неправильное и продолженное, как стон, „уто-о-п“ страшнее было правильного: „утонул“.

Несмотря на непогоду, захлопали отворяющиеся рамы.

Застучали торопливые шаги по панели к воротам. В шапке, но без пальто, с поднятым воротником пиджака, пробежал по панели, к воротам, чиновник Румянцев. Слышались голоса.

Много славновских любопытных жильцов, несмотря на непогоду, побежало на Фонтанку.

Веню не пустили родители.

Сидел на окне.

На тучи смотрел серые, как дым, быстро катящиеся.

Ждал, когда принесут Володю Румянцева.

Тревожно, неспокойно было на душе.

И пришли во двор певцы бродячие, несмотря на непогоду. Четверо. Трое мужчин и женщина.

И, несмотря на непогоду, запели.

Ветер зловеще выл. Стонали флюгарки. Серые, низко катились тучи. Как дым. И певцы запели:

На речке, на речке-е-е,
На том береже-е-ечке.

Вени стало не по себе.

И хотя пели о том, что какая-то Марусенька мыла „белые ноги", и что на нее напали гуси, которым она кричала:

„Шижма! Летите, воды не мутите!" — мальчику казалось, что певцы посланы к е м-т о спеть о Володе, утонувшем „на речке, на том бережечке".

А когда раздались слова:

Шла стара баба,
На скрипке играла,
На скрипке играла,
Сама подпевала, —

стало совсем нехорошо. Представилось почему-то, что старуха, играющая на скрипке — или ведьма, утопившая Володю, или Володина смерть.

И вставал мучительный вопрос:

„Зачем старуха — со скрипкою? Разве старухи играют на скрипках?..".

Редкие песни — не мучили. Редкие были — ясны. Когда в праздники отец пел: „Нелюдимо наше море" или „Среди долины ровные" — тоже было томительно и неясно.

И удивляло Веню, что во всех песнях не было радости...

Отцовский дом покинул мальчик я...
Травою зарастет.
Собачка верная моя
Залает у ворот, —

пели маляры и штукатуры.

И представлялся уходящий куда-то человек, тоскливо воющая собака и дом, заросший травою, как могила.

Даже о саде зеленом те же штукатуры и маляры пели невесело: грусть-тоска о саде, рано осыпающемся, и о разлуке с каким-то другом, отправляющимся далече.

Но особенной неудовлетворенностью веяло от излюбленной всеми мастеровыми песни. Каждый день слыхал ее Веня.

Умерла моя Мальвина,
Во гробу лежит она:
Руки к сердцу приложили,
Грудь прикрыли полотном.
Громко певчие запели,
На кладбище понесли...
Приносили на кладбище,—
Застонала вся земля.
Вся вселенная сказала:
— Вот, — погибшая душа!
Тело в гробе говорило:
— Подойди, милый, сюда!
Подойди, милый, поближе,
Встань ко гробу моему...

Вся--от начала до конца—похоронная, но не трогающая, а назойливая, неотвязная, как зубная боль. И мелодия неотвязная, незабываемая, как ошибка.

II

ТОЛЬКА И ТОНЬКА

Двенадцатилетним Веня увлекался игрою в карточки. В моде тогда была эта игра. Азарт какой-то поголовный, повсеместный.

Целые коллекции ребятишками составлялись. Покупались за деньги, выменивались

на сласти и игрушки. В мусорных ямах, в садах, во всех закоулках искали папиросных коробок.

И играли в эти карточки, т.-е. в оторванные от коробки крышки и донышки, до самозабвения, до драк и слез включительно.

И в эту-то карточную эпоху переехал в Славнов дом новый жилец, капитан 2-го ранга Одышев.

Сам он еще находился в плавании, а приехали сначала его сестра, Софья Алексеевна, и дети: сын Анатолий и дочь Антонина. И еще — капитанский пес, Гектор.

Когда во двор въезжали три воза с мебелью, из окон, как полагается в таких случаях, торчали женские головы.

Но внимание славновцев, как взрослых, так и малолетних, главным образом, было обращено не на разгрузку возов и не на мебель капитана, а на его детей.

И не только потому, что дети были очень уж не похожи на славновских ребят: рослые, чуть не с извозчиков, раскормленные здоровяки, толстоногие, с круглыми румяными лицами и с двойными подбородками.

И не потому еще возбуждали они всеобщее внимание, что были в костюмах, смешных для их видных фигур: в широкополых соломенных шляпах с лентами, свисающими

сзади; в матросских рубашках; мальчик в коротких штанишках, а девочка в короткой юбочке.

Не вид их и не костюмы привлекли внимание славновцев, а поведение: очень смело, даже оскорбительно вели себя капитанские дети.

Первым долгом они принялись науськивать огромного сенбернара на кошку, пробегавшую через двор.

— Гектор! Гектор! Усь! Усь! — кричали во все горло. — Чорт! Гектор! Бери-и!

Огромный пес, басисто тявкая, прыгал перед ощетинившейся кошкою.

Из окон уже кое-кто кричал:

— Мальчик! Дети! Зачем? Не надо!

И тетка бросила смотреть за мебелью и побежала за озорниками.

— Анатолий! Антонина! Что вы делаете? Как вам не стыдно?

Была она маленькая, значительно ниже своих племянника и племянницы, худенькая, тонкоголосая.

Суетилась, натыкаясь на широкие спины, на голове тряслись кружева и ягоды какой-то странной шляпки.

— Дети! Как вам не стыдно?

— Дурак, сам упустил! — говорил мальчик девочке. — И никогда он кошек не берет, дурак!

— Собака-то умнее вас! — не вытерпел кто-то из наблюдавших из окон.

Дети задрали широкие поля шляп, посмотрели вверх.

Потом, как бы сговорясь, мальчуган показал кукиш, а девочка язык.

Где-то засмеялись.

— Я вот выйду и уши надеру! — крикнул оскорбленный.

И опять, как бы сговорясь, капитанские дети состроили „носы".

После этого случая капитанских детей называли Толькою и Тонькою, оболтусами и дылдами.

Дальнейшее знакомство славновских ребят с новыми ребятишками ознаменовалось скандалом.

Толька примкнул к играющим в карточки и неожиданно кинулся на одного, у которого была в руках солидная пачка карточек, — выхватил их и убежал.

Ребятишки, не догнавши длинноногого грабителя, стали стучать в двери капитанской квартиры, но вместо тети Сони выскочил страшный Гектор с грозным лаем.

Мальчишки в страхе бежали.

В этот же день Тонька, встретив во дворе наборщикова Петьку, сорвала с него шапку, а когда тот бросился на нее

с кулаками, схватила за руки и поставила слабосильного мальчугана на колени, крича при этом весело:

— Кланяйся королю в ноги!

Петька, обиженный до слез, не рискнул драться с большой и толстой девчонкой, силу которой уже испытал, и, отойдя на почтительное расстояние, начал дразнить ее „девчонкой тухлой печенкой“ и „толсторожей копоркою“, а в ответ получил не менее обидное: „заморыш“ и „мальчик с пальчик“.

Потом, играя в „школы-мячики“ с девочками, Тонька вырвала у одной ленточку из косички и убежала.

Девочка со слезами, в сопровождении матери пошла к тете Соне.

Но опять Гектор — и фиаско.

А когда пожаловались дворнику Емельяну, и тот решительно двинулся было по направлению к лестнице, где находилась квартира капитана, Толька из окна предупреждал:

— Эй, дворник! И на тебя спущу пса, вот, святая икона!

И крестился так истово, что дворник помотал головою:

— Ну и разбойник!

И успокоил обиженных:

— Отдадут ленточку вашу. Куды им!

Через несколько дней славновские мальчишки скопом напали на проходившего по двору Тольку.

Мальчик защищался отчаянно.

Встал к стене, чтобы не окружили, и бился долго.

— Отдай стошки! — кричали нападающие.

— Не отдам. Вот вам стошки!

Толька делал непристойный жест — хлопал рукою ниже живота.

И опять жестоко отбивался. Но, видя „неустойку", закричал на весь двор:

— Тонька, выпусти Гектора!

Но сестра, побитая полчаса назад братом, спокойно отвечала из окна:

— Как бы не так! Мальчики, отдуйте его хорошенько! Ага! Ловко! Вы его по носу! У него нос слабый! Ага!..

— Тонька, сволочь, — свирепел, уже теряющий силы и терпение, мальчуган. — Тонька! Все равно же не убьют! Говорят: выпусти!.. Гек...

Но его сшибли с ног.

Образовалась куча тел на камнях.

Задыхающиеся крики.

— Отдай стошки!

И перехваченный голос:

— Вот вам... Х!..

Из всех почти окон смотрели, но никто не заступался.

Тети Сони не было дома.

А Тонька хохотала, пела:

— Попало, попало!.. Ловко попало! Мальчики, вы его по носу!

Но уже из носа Толька и так текла кровь.

Кому-то из жильцов надоело наблюдать дикую сцену.

— Перестаньте, ребята! Я за дворником пошлю!

И дворник уже шел.

Побоище прекратилось.

Толька, высморкал кровь, отер пальцы о толстые голые ляжки, сел на ступеньку подъезда. Сестра не пустит — до прихода тетки.

Сестра дразнилась из окна:

— Попало? Здорово?

Толька грозился:

— Ладно! Получишь!

Вечером, из окон капитанской квартиры, раздавались вопли Тоньки, лай Гектора и голос тети Сони:

— Разбойник, ты убьешь ее!.. Разбойник! О, боже мой!

Но через несколько минут брат с сестрой, оба красные и потные, лежали на окнах. Он на одном, она на другом.

И передразнивались.

— Здорово я тебя, Тонька, а? Волосато целы? Много осталось?

— А у тебя ухо держится?

— Ухо-то на месте, а вот волос у тебя только на две драки осталось.

— А здорово я тебя укусила? Забыл?

— Ишь, хвастает! Кусаться-то всякий умеет! А вот на кулак ты не годишься!

— Дурак! Ведь я не мальчишка.

— А не мальчишка, так и помалкивай в тряпочку. Все равно же я тебе всегда накепаю.

— Накепаю! Посадский! Посадский! Вот-с!

Тонька высовывала язык. Соскакивала с окна.

Соскакивал и Толька.

Опять вопли, визг, лай басистый Гектора. И пронзительный голос тети Сони:

— О, боже мой! Дети!.. Разбойники!

Звон посуды.

На другой день Толька появился во дворе с завязанной головой.

На вопросы мальчишек отвечал спокойно:

— Сестренка тарелкою.

— Вот те и раз! — смеялись мальчишки.

— Ну зато и я отыгрался на ней здорово!

Толька действительно дрался с сестрою дико, бессердечно, как с мальчишкою равным себе: бил кулаком и метил всегда или в ухо, или в нос, в глаз, а если надоедало

капителиться — хватал за волосы, валил, прижимая коленом грудь. И торжествующе кричал:

— Смерти или живота!

И в фигуре его, не по летам крупной и крепкой, в торжестве дикого крика и в диких глазах и в самом гладиаторском попирании жертвы чувствовалось нечто нерусское, древнее, варварское.

Недаром кличка Варвар укрепилась за ним быстро. Правда, называли его так только взрослые.

Но случалось, — брат и сестра Одышевы вели себя мирно.

И все их тогда хвалили.

Мальчики играли с Толькою, заискивали перед ним, хвалили его за силу. Девочки наперебой болтали с Тонькою, обнимались с нею и чмокались и от ее сильных объятий не плакали, а визжали радостно-испуганно.

Толька не дразнил татар и торговцев, ребятишек не бил, а играл с ними милостиво и даже угощал сахаром, запасы которого всегда были в его карманах. Рассказывал интересные истории, слышанные им от отца, капитана, везде побывавшего, объездившего весь свет раз десять... И не бил гимназиста Леньку Шикалова, когда тот прерывал его рассказы эпизодами из жюльверновского: „Вокруг света в 80 дней".

Лишь когда Ленька особенно надоедал, Толька обрывал его спокойно:

— Твой Жюль Верн в восемьдесят дней свет объехал, а мой отец в сорок дней. А один раз даже в тридцать пять!

Рассказывал Толька не плохо. Загорался. В такие благодатные дни тетя Соня накупала любимцам своим сладости, одевала в новые костюмы.

Толька появлялся во дворе в новом матросском костюме, в панталонах подлиннее и просторнее вечных своих смешных коротких, тесных штанишек. Огромная шляпа заменялась фуражкою „Жерве".

Из-под козырька прихотливо выбивался белобрысый хохолок.

И дикие, когда озорничал, глаза в те тихие дни делались обыкновенными светлыми, ребячьими.

Смелые, но не глупые.

Тонька или Тоня, как ее в такие дни называли, в коричневом гимназическом платьице, — веселая, но не озорная, играла с девочками в „школы-мячики", в „котлы".

Но потом вдруг, утром как-нибудь, раздавался лай Гектора, визг тети Сони:

— Толя! Ты с ума сошел! Толя!

А Толька сидел на окне, болтая, не обутыми еще длинными ногами.

Смотрел с трехъэтажной высоты вниз.

А сзади надорванный голос тетки:

— Сумасшедший! Ты убьешься!

— Давай полтинник, а то спрыгну! — оборачивался мальчуган.

— Только! О, боже мой! Что я буду делать! Мучитель!

— Полтинничек пожалуйте! А? Нет? Ну, тогда прощайте!

Тетя Соня взвизгивала на весь двор:

— Помоги-и-и-те!

Из окон глядели любопытные. Некоторые срамили мальчика.

Но это не смущало озорника.

— Тетя, и не стыдно вам из-за несчастного полтинника такую историю поднимать? — нахально, но резонно спрашивал мальчуган.

В конце концов деньги он, конечно, получал.

Тонька шла за ним и просила себе долю.

Но Толька с изуверской невозмутимостью уписывал за обе щеки накупленные сладости, даже угощал мальчишек, но сестре не давал.

— Тянушечки хорошие! Ах! Объядение!

Глаза у него уже были дикие, озорные: верхние веки широко приподняты, нижние — подщурены.

— А вот — мармелад! Приятно!

Тонька, красная от обиды, косилась на брата:

— Ладно! Папа скоро приедет, я ему все, все расскажу!

— Я сам ему расскажу, дура! Всегда же рассказываю, сама знаешь! А вот ты послужи лучше. Поймай конфетку, мармеладинку! Я брошу, а ты лови, только ртом, а не руками. Ну, раз, два!

— Иди к чорту! Что я собака, что ли?

— Ну, как хочешь. А я сейчас мороженого куплю.

— Негодяй! Вор! Тетю обокрал!

— Она сама дала.

— Вот так сама, когда ты окном пугал!

— А вот ты попробуй так. Иди да напугай!

Тонька шла. Но не пугала, а выпрашивала со слезами и визгом.

Тетя Соня кричала:

— Вы меня в гроб вгоните!

Это была ее любимая фраза.

Но все-таки давала — не полтинник хотя, а четвертак.

Тоня бежала вниз радостная, но на лестнице ее ловил брат.

Раздавались дикие крики и потерянный плач.

Толька выбегал с лестницы с мармеладом во рту и с четвертаком в кулаке.

Сзади — плачущая сестра с криком:

— Держите вора!

Хлопали рамы. Испуганные головы высовывались. Кричала тетя Соня;

— Дети! Изверги! О, боже!.. Толя, я за дворником пойду!

Но мальчишка валил девочку с ног, пинал ногой:

— Сволочь! Лезет тоже!

И, вихрем — в ворота.

Приходил поздно, к чаю.

Губы синие — от черники.

— Два фунта слопал! — хвастал перед мальчишками: — прямо горстями жрал, святая икона! Во!..

Показывал синие как в чернилах руки.

— Люблю чернику! — добавлял задумчиво. — Я в деревне одно лето из лесу не выходил. Всю чернику обобрал! У девок отнимал! У мальчишек!

Иногда Толька и Тонька озорничали совместно, избирая предметом для диких своих забав тетю Соню.

Наигравшись, уставши бегать и возиться, Толька распаренный, опахивающийся фуражкою, обращался к сестре:

— Тонька, знаешь, что я придумал?

— Что?

— Угадай?

— А я откуда знаю? Наверное, глупость какую-нибудь!

— Дура! Отличную штучку придумал!

Щелкал языком и глядел на сестру дико-веселыми, снизу-сощуренными глазами.

— Ну чего, говори, а то я играть пойду!— нетерпеливо кусала губы Тонька.

— Пойдем тетю Соню в гроб загонять.

Тонька смеялась, также дико щуря глаза.

— Ка-ак? По-настоящему?

— Зачем? По-нарочну!

— А как?

— Я буду по стеклу ножом царапать.

— Ну так что ж! А она что?

— Дура! Она же боится! Для нее это все равно, что черный таракан. Сама же знаешь!

— А она возьмет и убежит!

— Зачем? Один — царапает, другой — держит и уши не дает затыкать. Что ты, порядка не знаешь, что ли?

— Тогда ты держи, а я буду царапать,— предлагала Тонька.

—Я лучше царапаю,—не соглашался Толька. — Я такую песенку заведу, что и ты не вытерпишь. Знаешь, так, с дрожанием: в-жж-и-и... Будто ножом по сердцу!

Тонька в восторге прыгала, хлопая в ладоши.

— А я ее как захвачу вместе с руками и со всем, а ты над ухом над самым, верно? Толька?

— Ну да, как следует!.. Пойдем!

Бежали, перегоняя друг друга, домой.

Дома действовали хитро и коварно.

Толька закладывал осколок стекла в книгу и входил в комнату тетки с видом ягненка:

— Тетя Соня, можно у вас почитать в комнатке?

Та, не привыкшая к подобным нежностям со стороны озорника, „варвара", радостно разрешала:

— Миленький, конечно! Сколько угодно!

Толька скромно садился в угол и осторожно, боясь выронить стекло, раскрывал книгу.

Тетка тоже бралась за Поль-де-Кока или Золя.

Входила Тонька, едва сдерживая душащий ее смех.

— И ты бы почитала что-нибудь, Тонечка, — ласково предлагала тетя Соня: — видишь, какой Толя умник.

Тонька хмурилась, чтобы не рассмеяться, и говорила уныло:

— У меня голова болит, я лягу.

Ложилась на диван.

Тетка пугалась, шла к ней. Садилась рядом. Щупала горячую от недавней возни голову племянницы:

— Как огонь! Господи! Надо хины!

Она делала попытку встать.

Толька кашлял — сигнал.

„Больная" вскакивала с дивана.

Испуганная тетка успевала только крикнуть:

— Что такое?

Книга падала из рук Тольки. Ягненок превращался в волка:

— Крепче держи, Тонька!

Громко вскрикивал.

Крик тетки терялся в этом крике и звонком хохоте Тоньки.

Маленькая, худенькая тетя Соня через секунду тщетно рвалась из крепкого кольца рук толстухи.

— Сумасшедшие, что вы делаете?

А над ухом взвизгивало под ножом стекло. Неприятный звук заставлял нервную тетю Соню дрожать, взвизгивать, жмуриться. Напрягала всю слабую силенку, стараясь освободиться из рук мучительницы, но сильная девчонка совсем втискивала ее в угол дивана, хохоча прямо в лицо.

А Толька, вспотевший от старания, с высунутым из уголка рта языком, дикоглазый,

виртуозно, по-особенному, с дрожанием, чиркал лезвием ножа по стеклу.

И невыносимый, как ножом по сердцу, звук лез и лез в незащищенные уши тети Сони.

Из соседней комнаты раздавался лай Гектора, предусмотрительно запертого Толькою.

— Ты не ори, не хохочи! — кричал на сестру Толька: — музыки не слышно! После посмеешься.

А тетка молила:

— Дети! перестаньте! О-о!.. Ай! Толя, я с ума сойду! Ой!.. Над... самым ухом! Тоня! Гадкая девчонка! Ты мне ребра сломаешь! Ой!.. Боже мой! Мучители! Что они со мной делают?

Трясла головой, как от пчелы:

— И-и-и-и!..

Тонко взвизгивала. Топотала тонкими ножками в узконосых башмачках. Стуком каблучков старалась заглушить пугающий, раздражающий визг.

Но напрасно.

Слабые ножки зажимались сильными ногами озорницы.

— Тонька! Медведь! Ты мне ноги отдавила! Ой, мозоль!..

— Любимая! — гоготал Толька.

И опять все настойчивее, беспощаднее взвизгивало стекло.

Тетка, вся в слезах, кричала:

— Мучители! Изверги! Сумасшедшие! Вы меня в гроб вгоните!

Последняя фраза тонула в диком восторженном хохоте ребят.

Толька, обессиленный от смеха, садился на пол, но не прерывал „работы".

И язык высовывался от напряженного старания. Наливалось кровью лицо и даже руки.

А Тонька совсем смяла в объятиях уже переставшую сопротивляться и кричать жертву.

С тетей Соней начиналась истерика.

Толька выскакивал из комнаты.

Тонька осторожно опускала тетку на диван и, закрыв ладонью рот, чтобы не прыснуть, выбегала следом за братом.

Лежали в креслах в соседней комнате.

— Уф, чорт возьми! Упарился! — отирался платком Толька. — Здорово я наигрывал, слышала? „Дунайские волны", слышала, а?

— Какие там „Дунайские"! — смеялась красная Тонька.

— Вот святая икона, первый куплет выходил...

— Жарко, — утомленно закрывала глаза сестра.

За стеной — тихий плач в перемежку с рыданиями.

— Долго мы мучили, Толька, надо было поменьше.

— А что?

— Что? Не слышишь — что?

— Чепуха! — спокойно закрывал глаза Толька. — Тоже „Дунайские волны"! Первый раз что ли вгоняем в гроб?

Он вдруг громко гоготал.

— Тьфу! Чего ты? — вздрагивала сестра.

— Все-таки сказала: „Вы меня в гроб вгоните!..".

— Дурак! Еще смеется!

— Заплачь, умница!

Молчание.

Воет Гектор. Опять — рыдания за стеной.

— Я боюсь! — говорит тихо Тонька.

— Кого? Медведя? — не открывает глаз брат.

— Дурак! Сам ты медведь!

— Это ты ей ноги отдавила — ты медведь! Большая медведица, — острит Толька.

Тонька смеется. Потом говорит тихо;

— Какая она слабенькая! Худышка!

— Не всем же быть такими толстыми, как ты. Колбасница!

— Уж ты молчал бы! Тоненький, тоже! Помнишь, вчера рубашка не лезла.

— Давнишняя. Потому и не лезла.

— Вот так давнишняя! К Пасхе сшили, а теперь Троица.

— Дура! У меня — сила, мускула растут. А у тебя бабское мясо: дурное!

— Мускула! Подумаешь, какой борец Пытлязинский. Харя — красное солнышко.

— А у тебя — полночная луна! Оба мы с тобой чахоточные, — смеялся Толька.

Тонька тоже смеялась.

Потом говорила серьезно:

— А ведь толстые здоровее худых? Верно?

— Понятно! — соглашался Толька. — На одних костях не разгуляешься. В мясе — сила!

— Это верно! Я толстая, так я Петьку наборщицкого всегда валю. А видел, как я тетю Соню держала? Я еще ее тихоньку.

— Ишь, хвастает! Нашла кого — тоже! Петька известный заморыш, а тетя Соня старая дева, засушенная. Сила у тебя — тоже! Была у тебя сила, когда тебя мать знаешь куда носила?

— Дурак! Всегда гадости говорит.

— А чего ты хвастаешься? Выходи на левую! Что? Слабо вашей фамилии?

— Вашей фамилии? — передразнивала сестра. А у тебя другая фамилия, что ли?

— Конечно, другая! Ведь мы не родные.

— Сказал! А какие же? Двоюродные?

У Толъки рождалась тема для нового озорства. Он делал угрюмое и таинственное лицо и говорил, точно нехотя:

— Ладно! После...

— Чего после? Ты на что намекаешь? — пытливо смотрела Тонька в насупленное лицо брата. — Ты говори!

Толька молчал угрюмо и загадочно. Напряженно посапывал. Вздыхал.

Тонька садилась рядом:

— Ну, Толечка, Анатолий, скажи! Я вижу, что-то есть такое. Ты стал такой скучный, некрасивый..,

— Отстань! — устало отмахивался брат. — Не могу я говорить... Отец узнает — убьет!

— Как убьет? За что?

Всякое терпение оставляло девочку. Молила, встав на колени:

— Ну, милый! Ну, я прошу! Видишь, я на коленях! Вот, ручку поцелую! Ну, скажи! Еще, вот, поцелую ручку!

— Проболтаешься, — отвечал, не отдергивая руки, Толька. — Хоть ноги целуй — не скажу! Этого никто-никто не должен знать!

— Ей богу, не проболтаюсь! Истинный бог! Хочешь, икону поцелую?

Толька думал угрюмо и мучительно.

— Поклянись гробом моей матери! — говорил торжественно, коварно подчеркивая слово моей.

Сестра что-то соображала.

— Постой! Ты сказал... моей. Значит: твоей? А... моя?

У нее делалось испуганное лицо.

— Толька, что ты сказал?

Толька же решительно отходил к окну.

— Толька! — мучительно звенело сзади. — Толя!

— Тоня, милая! — оборачивался мальчуган. — Ты же сама знаешь! И себя и меня мучаешь...

— Что я знаю? Я не знаю, я боюсь, — задыхалась девочка: — скажи яснее.

— Не могу я... Ты... ты... Нет, не могу!

Толька вспоминал, как открывают роковые тайны в театрах. Входил в роль.

— Милая, сест... милая, дорогая девочка! — (подчеркивал: девочка), — я... Нет, я не должен... этого... говорить!

— А, я знаю, — соображала вдруг Тонька. — Это — ужасно! Я... я... не сестра?.. Да?..

Толька вздрагивал как бы от страха, протягивал руку (вспомнил — в балаганах так видел) и усиленно задыхался:

— О... дорогая!.. О... Не бойся!.. Так богу угодно... Что я?.. О, ужас!

Отбегал, как настоящий балаганный трагик, на цыпочках, картинно протягивал руку, как будто защищаясь от страшного видения, и зловещим шопотом произносил:

— Ты — подкинутый младенец!.. Крещена... имя — Параскева!

Последнее приводил из вчерашней газеты.

Сестра дико взвизгивала, тяжело плюхалась в кресло.

Только, увлеченный ролью, схватывался в неподдельном отчаянии за виски и, закидывая голову, шатался, как раненый:

— О, что я наделал! Безумец!

Тонька визжала ушибленным поросенком.

В дверь барабанила тетя Соня.

— Мучители!.. Опять? Вам мало?.. Что вы делаете там?.. Что ты с ней сделал, несчастный ребенок?

А несчастный ребенок, продолжая интересную роль, шипел на ухо сестре:

— Ты слышишь? Ни слова о страшной тайне!.. Иначе — погибнем! О, ты знаешь меня?

Скрежетал зубами:

— О, я тогда убью и тебя и себя!..

В двери — беспрерывный стук.

Заливался Гектор.

Взвизгивала кликушей тетя Соня:

— Отворите же, изверги! Я — умру! Вы меня в гроб вгоните!..

За несколько дней до приезда отца Толька подводил итог всем своим озорствам.

Выписывал на бумаге. Некоторые с пометкою числа и месяца.

— Что я скажу вашему отцу, когда он приедет? — заламывала руки тетя Соня.

— Я все скажу сам. Вот!

Толька показывал листок.

Тетя Соня читала и пугалась.

— Боже! Ведь он убьет тебя!.. Несчастный!

— Не беспокойтесь, шкура у меня крепкая! Вот эта барышня завертит хвостом: „Я — ничего, это все Толька". Знаю я ваше дело!

Когда приехал капитан, все в доме радовались.

Толька два дня не выходил. На третий появился во дворе.

Ходил он, странно расставляя ноги. И плечи свои широкие держал приподнято. И как-то неестественно выпячивал грудь, точно за воротник, на спину, ему наливали воду.

На лестнице по секрету рассказывал Вене и еще некоторым, которые поболъше:

— Выдрал знатно! По-капитански! Я ему списочек всех дел представил. Святая икона! И сестренку не показал. Вот, истинный господь! А скажи я хотъ слово, он бы ее устосал! Болъно бьет, дьявол!

— Это отец-то дьявол? — укоризненно качал головою швейцаров Антошка.

— Ну, так что? К нему не пристанет, хотъ антихристом назови... Да-с! Представил ему списочек. А он сигару закурил. Долго читал. Потом: „Все, говорит, здесь?". „Еще, говорю, тарелку разбил". „Как разбил?". А ведь тарелку-то Тонька об мою башку разбила. „Так, говорю, разбил. Из рогатки". Ну, он говорит: „Принеси Гекторову плетку". Собачью, значит. Принес я. Ну, он и начал. Эх, матъ честная!

Толька ухарски сдвигал фуражку. Выбивался белобрысый хохолок. Глаза — дикие, озорные.

— Ка-ак даст! Как хлестанет! Вжж! Вжж!.. Здорово!

В доказательство растегивал штаны. Задирал рубашку.

Ребятишки щупали сине-багровые рубцы.

— Болъно? — спрашивали.

— Нет!

— А вот здесь — больно?

— А здесь, поди, больно, да?

Толька вздрагивал.

— Не... нет!

И добавлял спокойно:

— Не больно! Только вот сидеть нельзя.

— Здорово нажарил, — хихикал наборщицкий Петька.

— Ты бы не выдержал, конечно, — застегивался Толька: — вот Веник выдержит. Он — крепкий. А тебе где ж!

— А ты, небось, злишься на отца? — серьезно спрашивал Антошка.

— Нет! — искренно отвечал Толька. — Он — хороший. Я его люблю. А что выдрал—это не вредно. Я даже люблю, когда дерут. Святая икона! Зубы стиснешь! А как хлестанет — дух захватывает. Будто ныряешь. Хо-ро-шо!

— Хорошо, только сидеть невозможно! — хихикал опять Петька.

— Дурак! Это тоже хорошо! Зато когда заживут — приятно. А теперь, конечно, не только сидеть, а даже спине от рубашки больно.

— Здорово! — не унимался Петька. — Хорошо?

— Не вредно! — ухарски сплевывал Толька.

III

ЗЛАЯ СКАЗКА

Толька Одышев в короткий срок сделался сказкою Славнова дома.

Даже приезд капитана и его жестокая морская порка, после которой Толька неделю не мог сидеть (даже обедал полулежа на боку), не оправдали надежд славновских отцов и матерей на умиротворение озорника и его сообщницы-сестры.

Тетя Соня попрежнему претерпевала мучения от озорства „несчастных детей" и систематически „вгонялась в гроб".

Озорничали они в отсутствие отца, а так как он являлся поздно вечером, то весь день был в их распоряжении. Тетя же Соня никогда не жаловалась брату на детей из боязни, что он „убьет их". И Толька спокойно владычествовал дома и вне дома, во дворе.

Мальчишки подпали под авторитет силы. Толька делал, что хотел. Игры происходили под его руководством.

Если же он потехи ради бил кого-нибудь из ребят, остальные держали сторону не обижаемого, а обидчика.

Да иначе и нельзя было.

Осилить Толькy можно не иначе, как скопом, но Веня, наиболее сильный из остальных, кроме Толькu, ребятишек, редко появлялся во дворе, а без него у славновцев ничего не вышло бы.

Один раз даже пробовали побить Толькy трое: Антошка, Петька и Ленька Шикалов. Но кончилось предприятие так: Антошку за ухо увел с поля битвы отец его, швейцар Лукьян, а оставшиеся двое его соратников, потеряв сильное подкрепление в лице выведенного из строя товарища, начали отступать, правда, с боем.

Наблюдавшая из окна эту сцену Тонька соблазнилась возможностью помучить вечную свою жертву — наборщикова Петькy — поспешила во двор.

В момент ее появления во дворе, брат ее уже прижимал коленом грудь Ленькu-гимназиста и ловил рукою наскакивавшего петухом Петькy.

Тонька схватила Петькy в охапку и, несмотря на отчаянное его сопротивление, как всегда, скрутила „заморыша".

Торжество победителей было полное. Чтобы избежать вмешательства взрослых (маленьких они не боялись), озорники утащили несчастных на лестницу и там дали полную волю своей жестокости, и если бы не случайно проходивший жилец

из сорокового, немец Цилингер, с большим трудом разогнавший палкою дерущихся,— неизвестно, чем кончились бы издевательства Толбки и Тонбки над побежденными.

В результате, у Петьки—все лицо в царапинах, ссадины на ногах, синяки на боках от щипков и недочет пуговиц на рубашке, у Леньки—синяк под глазом, разодранная в кровь губа и порванная под мышками курточка.

У победителей никаких повреждений. После этого случая славновские ребятишки всецело покорились Толькиной власти.

Толька же, для большей устойчивости положения, подружился с дворниковым сыном Никиткою, здоровенным деревенским мальцом, подминающим в борьбе всех, не исключая и Толбки.

Хитрый Толька знал, что ребятишки, если на их стороне будет здоровяк Никитка, всегда одержат нам ним верх.

А также Никитка, при большой своей силе, научившись драться, подчинит себе и его, Толбку.

И потому решил, что выгоднее привязать к себе опасного соперника.

С первого же знакомства, т.-е. после первой борьбы, Толька, смятый дважды подряд Никиткою, вызвал того на драку и, воспользовавшись необычайной неуклюже-

стью толстомясого деревенского паренька, пустил в ход все свое уменье и, побив соперника, не задрал перед ним носа, а, наоборот, расхвалил его и стал рассказывать о своих каких-то и где-то драках, при чем как бы невзначай упомянул, что он, Толька, убил кулаком нечаянно одного „здоровущего деревенского мальчишку".

Никитка усомнился. Но Толька перекрестился и сказал:

— Вот святая икона! Истинный господь! Убей меня гром!

Никитка поверил, тем более, что в момент страшной Толькиной клятвы собирался дождь и гремел в отдалении гром.

А Толька поспешил взять с Никитки слово, что тот никому не расскажет о его признании.

Наивный паренек побожился. И с того дня проникся к Тольке уважением, смешанным со страхом.

Толька же во время грозы в комнате тети Сони зажег лампадку и молился, прося бога, чтобы тот не убивал его громом, так как он божился непозаправду.

Далее, Толька часто угощал Никитку гостинцами, при недоразумениях ребятишек в играх всегда принимал сторону Никитки и в короткий срок сделал из простого

мягкого толстомясого увальня надежного помощника, куда надежнее Гектора.

По одному его слову Никитка бил и ломал любого мальчишку.

— Дай Петьке хорошеньче

И бедный Петька, с которым справлялась Тонька, летел кувырком от здоровенной Никиткиной оплеухи.

Поднимался, в слезах и ссадинах, и опять летел.

— Ловко!—хвалил Толька.—Только ты потише, а то убьешь!

— Я и то боюсь,—расплывался широкой улыбкою Никитка.—У меня ручищи страсть чижолые. Во, кулачище-то!

А Петька просил:

— Не бей, Никитка! Я же к тебе не лезу!

— Чего он ругается?—наущивал Тольку.—Намни ему бока, чтобы век помнил!

Никитка, сопя, как тяжелый сильный зверь, хватал плачущего Петьку и, повалив, садился верхом и бил „чижолыми кулачищами“ по тощим Петькиным бокам.

— Будет с него!—говорил Толька и предупреждал Петьку: — Пожалуешься матери—не выходи из дома—убьем!

— Я не буду жаловаться,—вздрагивал от плача Петька.—Только вы... не за что бьете... Что я вам... сделал?

— Ну, не реви, рева! Людей не так еще бьют. Верно, Никитка?

— Верно, — соглашался тот: — у нас в деревне как праздник, то кольями беспременно дерутся.

— Вот видишь, а ты от кулаков ревешь,— серьезно говорил Толька. — А еще мальчишка!

Никитка внимательно оглядывал маленькую, вздрагивающую от сдерживаемого плача фигурку Петьки и говорил не то с сожалением, не то с насмешкою:

— Человек тоже! Кочан капусты ежель на его положить — не встанет!

— Поборись с Ленькою, — говорил Тольке Никитке. — Сколько раз повалишь?

— Сколь хошь!

— Ну, а все-таки?

— Разов десять можно.

— А пятнадцать не можешь?

— Могу!

Никитка оглядывал Леньку, щупал его за грудь и плечи и добавлял уверенно:

— Сколь хошь могу!

— Валяй пятнадцать!

Ленька, рвался из могучих лап Никитки:

— Иди к чорту! Не хочу! Брось!

— Мало что не хошь!

Никитка добросовестно укладывал его раз за разом.

— Чорт, отстань! Борись с Толькой,— задыхался Ленька.

— Ладно! Помалкивай!— сопел Никитка.

А Толька, засунув руки в карманы и расставив длинные мясистые ноги в смешных коротких штанишках, считал:

— Одиннадцашь... двенадцать... Еще три осталось.

После пятнадцатого, дико подщуривая глаза, выкрикивал:

— Слабо еще пять раз!

— Можно хучь десять! — поворачивал к нему широкое красное лицо Никитка, держа зажатым между колен Леньку.— Сколь разов еще? Десять чего ли?

— Будет с него пяти.

Никитка укладывал Леньку еще пять раз. Отирал широкой рукою пот со лба.

Ленька, мокрый, как мышь, сидел на камнях, тяжело дыша.

— Задышался,— указывал на него Никитка.— А мне хучь што!

Усмехался:

— Воздушный народ в городе. Супротив деревенского горазд легкий.

Даже на взрослых, на пьяных науськивал Толька своего верного Цербера.

Идет пьянчужка башмачник хромой, с пением:

На Калинкином мосту
Три копейки — вакса.
Полюбил старик старуху,
А старуха — плакса.

А Толька Никитке:

— Ну-ка, покажи ему ваксу! Толкни его, будто нечаянно. Пьяный он, да и нога хромая.

— Да! А он — палкой!

— Где ему! Да и не успеет. Ты так, будто не видишь. А то забеги на лестницу и беги оттуда.

— Вали ты, Толя, а?

— Мне нельзя. Знаешь, скажут: „Нарочно". А ты беги, да скорее, а то пройдет.

Никитка хихикал и шел, озираясь, видимо еще труся.

Толька грозил кулаком:

— У, чорт, канителься! Смотри, играть с тобой не буду!

Этого достаточно.

Никитка бежал на лестницу, ложился на окне, поджидая жертвы.

Потом сбегал, насвистывая, с фуражкою, надвинутой на глаза, прыгал через несколько ступенек, чтобы разогнаться. Широкой грудью налетал на слабо держащегося от опьянения и хромоты человека

и сбивал его с ног, вылетая во двор радостный и испуганный.

С лестницы выходил ковыляющий, держащийся за ушибленный затылок, башмачник:

— Это... это что за бешенство? На людей кидаются? А? Дворник! Дво-о-о-рник!

Старшему, дворнику Дмитрию Степанычу, кричал, стуча палкою:

— Ты это расследуй! Я все равно так не оставлю! Я не вор какой, чтобы меня пихать! Что? Мальчишки? Играют? Это, брат, не игра, на людей кидаться!

— Вы, Федор Федорович, сами вот песни распеваете, думаете я не слышу? — степенно разглаживал бороду старший. — Вы человек семейный и пьянствуете. И пение во дворах не разрешается. От этого беспокойствие жильцам.

— Ты мне, Степаныч, Лазаря не пой! — горячился Федор Федорыч. — И пьянством не урекай. Не ты меня поил... А от пения — никакого беспокойствия. Подумаешь, какие тут короли нидерландские живут, что человеку петь нельзя!

Он сердито ковылял, стуча палкою:

— Право, короли нидерландские! Ребят и собак бешеных завели. У-у, сволочи!

Грозил палкою в пространство.

А Никитка докладывал Толькe:

— Я ему, надо быть, последнюю ногу поломал. Здорово он шмякнулся, ей-ей!

— Молодец! — хлопал Толька Никитку по круглому плечу. — Здоровый ты, чорт!

Лицо Никитки расплывалось блином.

— Не больной, это верно.

Жалобы жильцов на проделки невозможных детей встречали холодное равнодушие капитана.

— Взяли да отодрали за уши! — говорил Одышев, дымя крепчайшею сигарой.

— Легко сказать! Да чтобы надрать уши вашему сынку, нужно двух дворников.

— Ерунда! Мальчишка есть мальчишка, какие для него дворники. Я его, конечно, отлуплю, но он озорничать не перестанет.

— Тогда не пускайте его гулять.

— Я не вижу в этом надобности, — дымил капитан.

Жаловались домовладельцу, но успеха также не было.

Славнов, приятель Одышева, принял жалобщиков еще холоднее, чем капитан.

— Простите, пожалуйста! Если ваши дети дерутся между собою, то я тут не при чем. Отказывать жильцу, потому что

физиономия его сына вам не нравится, я не имею права.

— Здесь дело не в симпатиях, а в том, что такие дети, как сынок Одышева, сидят в колониях для малолетних преступников.

— Так вы посадите его туда, о чем же может быть разговор? — язвительно улыбался желчный Славнов.

И жалобы большей частью были мало основательные: кто-то из мальчишек разбил стекло, сшибли с ног, правда, пьяного, но убогого башмачника, напугали в темноте жиличку из девятнадцатого, Тонька чуть не до смерти защекотала наборщикова Петьку — водой насилу отлили — зашелся.

Но главным образом боязнь родителей заключалась в том, что озорства капитанских детей вредно влияют на нравственность играющих с ними ребят.

И влияние Тольки и Тоньки сказывалось.

Дворников Никитка, поощряемый Толькою, играл со славновской мелкотою, как богатырь Васька Буслаев в детстве: швырял, выворачивал руки, отдавливал ноги.

Дети явно портились.

Самые тихони становились грубыми. Случалось — похабничали, неприлично ругались.

— Я и ругаться-то не умею, вот, святая икона! — крестился опрошенный по этому

поводу Толька. — А стекол и совсем не бью, истинный господь!

О стеклах его и не спрашивали, так добавил. Вероятно, разбил.

Вене не позволяли играть с Толькою, да и сам он с ним не сближался.

Странное что-то произошло с Венею.

С первого знакомства капитанский сынок заинтересовал его.

Не нравился, а просто был чем-то интересен.

Но дальше, когда Толька стал оказывать Вене явное благоволение, Веня стал отдаляться от него.

— Вот ты настоящий мальчишка. Один из всех — настоящий, — говорил Толька, а Веня чувствовал нестерпимое желание уйти, не слышать, не видеть Тольки. И не боязнь была, что Толька, как озорник, сделает что-нибудь нехорошее, а просто: не принимало что-то там, внутри, в самом существе Вени не принимало Тольких благожелательных отношений.

Бывало, Толька рассказывает ребятишкам занимательные истории, обращаясь исключительно к Вене.

Веня слушает сначала с интересом.

Рассказывает Толька о морском пароходе, потонувшим во время бури в Индийском океане.

Ребятишки ни звука не проронят, слушают, как завороженные.

Толька рассказывает хорошо. Слова у него не грубые, как всегда, а хорошие, не его слова. И голос не звонкий, с небольшой сипотцой, а мягкий, не его голос.

И по мере того, как рассказ становится все интереснее: волны перекатываются через палубу тонущего судна, моряки молятся и прощаются друг с другом — не может больше слушать Веня и уходит.

И, выходя с лестницы, где обыкновенно рассказывал Толька, во двор — не верит Веня, что двор этот — славновский двор. Незнакомый какой-то.

И все же как и всегда.

Вот и панель — дорожки, две панели от лестниц до ворот. И флигеля, недавно оштукатуренные, желтые стены.

И вот ихняя ключаревская квартира тридцать — окна ихние: семь окон. И цветы: герань, кактусы, чайная роза — все давно известное, закрыв глаза сказать, перечислить все можно, — но как бы и не знакомое вместе с тем.

И смутно п о н и м а е т — виноват в этом Толька.

Рассказ его о гибнущем судне и сам Толька — виноват. Хотя бы не рассказывал ничего, все равно был бы в и н о в а т. „А что

он сделал? В чем виноват?" — спрашивает себя Веня, поднимаясь по лестнице домой.

Но ответить себе не может.

И от этого — и странно и пусто как-то.

Потом смотрит из окна, как ребятишки играют в „штандар".

И опять — не хорошо и пусто.

Не было Тольки — интересно было смотреть.

Прибежал Толька, и игра показалась не игрою, а безобразным чем-то.

И не просто неинтересной, а безобразной — невозможною показалась простая, знакомая игра.

Антошка бросает в стену черный арабский мячик. Кричит:

— Толька!

Толька бежит за упавшим мячиком, хватает его, кричит:

— Штандар!

Разбежавшиеся во все стороны ребятишки при слове „штандар" — останавливаются. Толька бросает мячом в близ стоящего. Игра — известная. Сам Веня сколько раз в нее играл.

Но что-то новое теперь в ней. „Толька виноват", — думает Веня.

Толька бежит.

Длинные, в коротких штанишках, длинные, но полные ноги. Треплется ветром

матросский воротник, прилипли вспотевшие на лбу волосы. — Толька — как Толька, всегда ведь такой.

И оттого, что всегда такой — особенно безобразно, неприятно.

И все сплетается в голове: Толька — „штандар". Какое нехорошее слово: „штандар!". Толька — буря в море.

Нехорошая буря! Толька...

„А еще в море бывают миражи, марево!.." — вдруг почему-то является мысль.

Толька — мираж! Толька — мираж!

И радостно и страшно: „Толька — мираж!".

Сам не понимая, что делает, застучал кулаком по железной крышке окна и крикнул:

— Толька — мираж!

И вспомнилось вдруг, как огурчики лежали давно, в детстве раннем, зеленые, на окне, „смеющиеся огурчики".

— Веня! Ты упадешь! — тревожный знакомый голос.

Веня вздрагивает.

Он — на окне. Во дворе не играют дети. Трубы напротив на флигиле освещены солнцем. Значит, вечер.

Мать гладит его по голове:

— Ложись спать! Разве на окне спят, милый?

— Я не спал, — отвечает Веня.

— Только храпел, а не спал, да? — улыбается мама.

— Нет! Только — не храпел, а Только — мираж! — отвечает тихо мальчик.

— Ты глупости болтаешь какие-то! Спать хочешь? — хмурится мама.

Веню вдруг охватывает чувство непонятной тревоги.

Сам не понимает, что говорит, ухватившись за руку матери обеими руками:

— Мамочка! Я Только — не хочу!

— Что? Как не хочешь? — не понимает мать.

— Я Только капитановского не хочу! — говорит Веня и чувствует дрожь и в голосе и в теле.

— И не надо, милый! Не играй с ним! Он нехороший...

Но Веня говорит, еще сильнее дрожа:

— Мамочка, ты не понимаешь! Я не хочу его, Только, не хочу! Понимаешь, мамочка, милая?

Отчаяние, страх охватывают оттого, что мать его не понимает.

— Ма-а-ма!..

— Милый... — пугается мать. — Ты — что? Он побил тебя, скверный этот мальчишка? Да?

— Нет, мама, нет! Ты не понимаешь! Ты пойми! Зачем — Толька? Не надо Тольки! Не надо! И теперь не поняла?

Отец, вошедший в комнату на истерические крики сына, сказал взволнованно:

— Этот Толька всех с ума сведет! Я в участок заявлю! Чорт знает, что с детьми из-за него делается!

IV

ПОСРАМЛЕННЫЙ ИДОЛ

Отец строго-настрого запретил Вене гулять во дворе.

— Гуляй в саду! Гораздо лучше, чем на вонючем дворе шляться. Или читал бы больше.

Веня принялся за чтение. Купил три книжки, дешевые, но красивые, с пестрыми, пахнущими краской, обложками: „Черный капитан", „Битва русских с кабардинцами, или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа", и арабская повесть: „Босфорская змея".

Но, несмотря на то, что книжки были интересные, Веня никак не мог отделаться от непонятного, гнетущего чувства.

Точно книжки напоминали о чем-то нехорошем.

И вдруг понял: „Черный капитан“ — виноват.

Он напоминает Толькy.

Капитан. Толька — сын капитана.

Отложил книгу — не хотелось уже читать.

А со двора неслись голоса играющих в солдатики детей.

— Нале-е-во! Кру-у-гом! Шагом, марш! — слышалась команда. „Толька — командир!“

Вспомнил Веня, — вчера Толька предлагал:

— Ты, Веник, офицером будешь. Я — командир, а ты — мой помощник. Я тебя обучать не буду и на часах тебе не надо стоять. А будешь только ходить и смотреть, чтобы часовые не спали.

Но Веня отказался играть.

— Ты на меня чего-то злишься, — сказал ему Толька. — Я тебя считаю лучше всех, а ты меня не любишь.

Вспоминая теперь, за чтением, вчерашний разговор, Веня ощутил неприятную неудовлетворенность.

А со двора опять послышалось:

— Напра-аво! Раз! Два! Три! Раз! Два! Три! Бе-е-гом!

И почему-то непреодолимо захотелось итти на двор, к играющим. И пошел.

Не играть с Толькою в солдатики. А зачем-то увидеть Толькy.

В лицо его, ненавистное, вглядеться.

И спускался когда по лестнице, странно опять было, как во сне, томительном и тяжелом, когда проснуться хочется и не можешь.

Выйдя во двор, пошел навстречу маршировавшим ребятишкам, но не дойдя до них — остановился.

Из квартиры в первом этаже (в нее вчера переехали новые жильцы, столяры), из окна, вылезал мальчуган в пестрой ситцевой рубахе, босой и без шапки.

— Чего смотришь? Не узнал? — крикнул мальчишка.

Спрыгнул. Прошел мимо Вени. Шел мелкими шагами, плечами вертя, точно плясать собирался. Юркий, видно, и озорник. Волосы тоже озорные: рыжие, во все стороны торчат, будто сейчас только драли за вихры.

Лицо пестрое от веснушек.

Веня подумал: „Новый. От столяров".

Пошел следом за мальчишкою. А тот, поровнявшись с играющими, закричал, как заправский унтер:

— Рота-а! Кру-у-гом!

И, обратясь к Толе:

— Эй, ты, генерал-маёр Слепцов! Вот как командовать нужно!

Порядок был нарушен.

Мальчишки остановились, с недоумением глядя на чудного незнакомца.

— Рыжий! — тихо прыснул кто-то.

— Рыжий! Рыжий! — повторили уже громче.

А мальчишка, оскалив широкий и прямой, как щель, желтозубый рот, передразнил:

— Рыжий, рыжий! Эх, вы, еще дразнить-то не умеете! Нешто рыжих так дразнят?

— А как? Ну, как?

Рыжий запел серьезно и старательно, будто настоящую песню, даже в такт помахивая рукою и притоптывал ногой:

Рыжий красного спросил:
„Чем ты бороду красил?".
Красный рыжему сказал:
„Я не краской, не замазкой,
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал".

Почесал затылок и опять, семеня ногами, будто пританцовывая, подошел к Тольке:

— Дяденька, а дяденька? Достань воробышка!

— Ты кто такой? — строго спросил Толька, покраснев до ушей.

— А я, ваше благородие, — скороговоркою отвечал рыжий, — есть самый выдающий человек. А родина моя: город Пске, Американской губернии, а звать Тимоха, рубаха писана горохом, штаны рисованы змеей.

Вона кто я такой! — заключил рыжий, щелкнув языком, как пробкою.

И, не обращая внимания на загоготавших от восторга ребятишек, продолжал, глядя прямо в лицо Тольке:

— А родился я в тысяча восемьсот не нашего году, а месяца и числа не помню, матка пьяным родила. А ты, поди, из легавой породы? — спросил он вдруг Тольку.

— Из какой такой из легавой? — покраснел тот еще сильнее прежнего.

— Из благородных, значит! Чулочки бабские, харя белая да гладкая, во всю щеку румянец, а под носом сопля!

— Евонный отец капитан, — сказал кто-то из ребятишек.

— С разбитого корабля, знаю! — буркнул, не оборачиваясь, рыжий и продолжал:

— Так-то, брат! А звать тебя, поди, Жоржик али Женечка, а?

— Ты чего дразнишься? — не выдержал Толька, надвигаясь на рыжего. — Какой я тебе Жоржик?

— Драться хошь? Погодь, успеем! — отмахнулся спокойно рыжий: — без драки нам не обойтись, это верно! А только сперва дай с парнишками обзнакомиться. Эй ты, чудный месяц! — крикнул он Никитке. — Ишь, харя! С похмелья двоим не облевать. Приятная физиономия!

Он подошел к оторопевшему пареньку и, внимательно оглядывая его, как какую-нибудь вещь, продолжал серьезно:

— Да-а! Знатная физия! И сам-то, что комод красного дерева. Он, поди, вас, братцы, на борьбу всех зараз гребет, оптом? А? И где таких толстомясых делают? Ты, брат, большую сумму денег огрести можешь. Хошь заработать, а?

— Как — денег? Где? — не понял Никитка, сбитый с толку серьезным тоном рыжего.

— Вот чудак, не знаешь! — удивился тот. — Где? А? А в Зоологическом. Ей-богу, тебя можно за деньги показывать! Специально из-за тебя публика пойдет. Э-эх! Браток! Верное дело упущаешь. Играет тут в солдаты, зря ноги ломает. Раз! два! Раз! Два! Ну и чудак, брат, ты! Или денег у тебя своих много?

— Никитка! Дай ему в морду, чего он надсмехается, рыжий чорт! — крикнул Толька.

— У морды, брат, хозяин есть! — ответил рыжий.

Но Никитка подошел к нему и, засопев, подтолкнул плечом:

— Ну, рыжий бес, валяй! Чего вяжешься? Ну, зачинай, что ли!

— Погодь! — отпихнул его рыжий слегка. — Знаешь, что такое карточка, закусочная и сопатка?

— Чего дурачишься? — полез Никитка уже прямо грудью. — Кака тебе карточка, да закусочна?

— Тпр!.. Не при, битюг дурдинский! Задавишь! — отпихнулся опять рыжий — А карточка, брат — это харя, а закусочная — рот, а сопатка — нос. А ежели ты этой науки не знаешь, то драться и не берись, не умеешь! А вот бороться давай, тебе это самому приятнее.

Никитка, действительно, более уверенный на успех в борьбе, согласился.

— Давай! Думаешь, слабо? Давай, ну?

Рыжий указал на середину двора:

— Сюда выходи, во!

Ребятишки заволновались:

— Ишь, дурак, бороться!

— Зря взялся!

— Никитка его сейчас сломает!

А борцы схватились крест на крест.

Рыжий, почти на голову ниже Никитки и значительно тоньше его, широко расставив ноги, тонкие и немного кривые, уперся ими крепко, как железными прутьями.

Никитка отчаянно заламывал противника, напирал крутой грудью в лицо.

— Сейчас задавит, — шептались ребята.

А рыжий кричал:

— Ого, грудища-то! Что подушка! Ну и чорт! Отъелся здорово!

Хлопал по толстой Никиткиной спине:

— Во, запасец-то!

Никитка, красный, как кровь, сопел на весь двор.

Расцепились.

— Здоров! — мотал головой рыжий. — Мужика, ежели который плохонький, задавит с ручательством: одно мясо да жир. Ишь, чорт, что свекла, стал! Даже ноги красные. Кровищи в нем, надо быть, целая бочка!

Ребятишки стояли молча, еще не могли решить, на чьей стороне будет верх, и потому держались осторожно.

А пыхтящий Никитка говорил, уже горячась:

— Ладно, брат! Чичас я те покажу, почем сотня гребешки!

— Что купец из бани, в чистый понедельник, уф, уф! — поддразнивал рыжий. — Ну, давай! Паровоз! Отдохнули! Хватит!

Схватились снова. Затоптались.

— Держись за воздух! — вдруг крикнул рыжий пронзительно.

Ребята ахнули.

Рыжий, приподняв тяжелого противника, мотнул повисшими его ногами в сторону и шмякнул наземь.

— Го-го-го!

Бесенятами зекружились ребятишки.

— Ай да рыжий!

— Молодец!

— Никитка! Не стыдно? Не стыдно??

— У-у-у-у!

Никитка медленно поднимался.

— Не ушиб, брат, а? — участливо спрашивал рыжий: — здесь у вас плохо — камень. Вот у нас, за Нарвской...

Он не договорил.

Толька сделал два длинных шага и, взмахнув рукой, ударил рыжего сзади по уху.

Тот кувырнулся через поднимавшегося с земли Никитку, но мгновенно вскочил сразу на обе ноги.

— Здорово стегнул! Только сзади не дело!

Сообразил — кто.

— А, капитан! Ну, брат, это не по-капитански!

А Толька молча ждал, слегка сощурив глаза.

Рыжий кинулся на него. Отскочил.

Толька бил крепко, но удары рыжего были необычайны.

Казалось, в удар кулака входила сила и стремительность всего его юркого тела. Точно выстрел — каждый удар.

Толька стал отступать.

Но рыжий не отставал. Удары его делались все стремительнее и жесточе. Даже не заметно было взмахов.

Восторг ребятишек был безграничен.

— Рыжий, рыжий! А-а-а!

— Так! Так!

— Что чорт вертится!

— А-а-а!

Толька упал. Вскочил, но снова упал. Из носа и разодранной губы — кровь.

— Толька, сдавайся!

— Толька, попало!

Кричали мальчишки.

Рыжий стоял, выжидая.

— Ну? Еще?—спросил, прерывисто дыша.

— До-вольно! — ответил Толька, сплевывая кровь.

И, отойдя на несколько шагов, вдруг громко-громко заплакал и побежал.

Веня почувствовал: волною прилило что-то к груди.

Ноги не стояли на месте.

Вприпрыжку, через двор, быстро вбежал на лестницу:

— Мама! Папа! Ма-а-ма! — захлебываясь, кричал.

Кинулся к испуганной матери:

— Мамочка! Мама! Сейчас! Сейчас! Тольку побили! Мама! Слышишь? Толька сейчас плакал! Толька плакал!

V

НОВАЯ СТРАНИЦА

Победа Рыжего над Толькою не была окончательной.

После еще несколько раз, уже „любя", сходились и всё — в ничью.

Рыжий беззлобно говорил ребятишкам о Тольке:

— Стегает прилично, несмотря что из господчиков. Сила у него большая.

— А все-таки ты ему завсегда насдаешь, верно? — заискивала мелкота.

— Нет! Поровну у нас идет. Я — его, он — меня. Конечно, ежели всерьез — другое дело. Когда я дерусь позаправду — сила у меня вдвое вырастает. И не отстану, хоть убей!

Действительно, при серьезных стычках Рыжий побивал Тольку, правда с большим трудом.

Но после таких столкновений утомлялся. Выросшая вдвойне сила — падала. Сидел потный и бледный, с вздрагивающими пестрыми от веснушек пальцами, в то время как у побитого им Тольки круглые щеки румянились и широкая грудь дышала глубоко и свободно.

В такие минуты Веня жалел Рыжего и ненавидел Тольку.

В борьбе с Никиткою Рыжий не всегда выстаивал. Нередко, когда ему удавалось, благодаря неуклюжести противника одержать над ним победу, поваленный Никитка легко сбрасывал с себя победителя и подминал тяжело и плотно.

А однажды на песке, на канале, против славновских ворот — с полчаса, пожалуй, мучил Никитка Рыжего.

Насел, что тому не дрыгнуть, а сам в носу ковыряет да посмеивается:

— Я будто ведмедь — всех давлю!

Думали ребятишки — драка выйдет. Но Рыжий не обиделся:

— Чорт, — говорит, — жирномясый, здорово припечатал!

— Уж ежели я мясами завалю — будь спокоен, как в санях! — соглашался Никитка.

Но как-никак, а с приездом в Славнов Рыжего ребятишки вздохнули куда свободнее.

Тольке с Никиткою не так уж издевались.

Как-то побитый Никиткою до синяков на боках Петька наборщиков пожаловался Рыжему:

— Завсегда бьет и ломает, вот хоть у ребят у всех спроси! — хныкал Петька.

Рыжий разыскал Никитку и предупреждение сделал:

— Смотри, чорт мордастый! Коли еще маленьких обидишь — кровью у меня умоешься!

— Какой же он маленький, Петька-то?— оправдывался Никитка. — Он даже меня старше.

— Дурак! Старше! А сравни себя с ним, получится слон и моська!

Петьке же Рыжий посоветовал:

— А ты, нюня, бей чем попадя! Камень — камнем, полено — поленом! И убьешь — не ответишь!

И остальным мальчишкам:

— А вы, братцы, чудаки-покойники! Иванятся у вас эти двое, Толька с Никиткою, и будто так и надо! Ежели б у нас за Нарвской такие Иваны объявились — беспременно им санки порасшибали бы!

— Да, а что мы сделаем с ними? — наперебой тараторила мелкота: — они вона какие битюги дурдинские, сам видишь!

— Битюги! А вы извозчиками будьте! Вы ведь боитесь, а боятся-то нечего. Всех не убьют. Меня хозяин и то второй год как бить бросил. Потому, ежели он за ремень, я обязательно — за фуганок али за стамеску. И вы бы так. Сила не берет — бей чем попало! Главное, компанией

надо. А то у вас так: одного бьют, а другие смотрят, да еще подначивают. А кучей вы могли бы и Толькy этого с Никиткою да и меня в придачу честь-честью расхлестать.

Ребятишки после между собой:

— Молодец, братцы, он, да?

— Правильный! Не гляди, что рыжий.

— Рыжие тоже разные бывают.

— Они его боятся, страсть!

— Вдвоем не побоятся, — не соглашался швейцаров Антошка. — Толька и один-то его не боится, а вдвоем с Никиткою им с ним и делать нечего.

— А нам нужно за Рыжего стоять. Верно?

— Понятно! Без него нам ничего не сделать.

Ожили ребятишки.

Петька повеселел и порозовел даже.

Никитка оставил его в покое. Изредка лишь легонько „игрался". Силы, крови у Никитки — уйма.

Веселит, радует Никитку здоровье, тело могучее.

Трудно удержаться, не попробовать силы, не прижать, не вертануть какого-нибудь заморыша.

Трудно удержаться от озорства, жестокости каждому здоровому ребенку.

Где удержаться, когда кровь, как само счастье?

Сила в каждой частице тела стучится, исхода требует, работы.

Лежит, бывало, Никитка в праздник, на песке, семечки лузгает.

Жара — не продохнуть. А от праздничной сытости еще жарче.

Что после бани — распарен Никитка.

Томится от безделья большое сытое тело.

Сжимает и разжимает круглые загорелые кулаки.

Ноги вытягивает, выгибая пальцы, отчего выпячиваются мясистые выпуклости под пальцами, на подошвах, а сверху, под крутым скатом ступней, у пальцев, складки — трещинки на грубой загорелой коже — слоновьи ступни.

„Эвона, ножищи у меня богатырские, — думает радостно Никитка: — огромадные и гольное мясо!".

А тут Петька стошки считает. Всегда со стошками — везет ему в игре.

Укладывает пачечки бережно.

Протягивает Никитка ногу, лапищу, ступню слоновью — весь капитал Петькин накрывает.

— Чего лезешь, брось, — толкает Петька Никиткину ногу: — помнешь стошки! Пусти!

— А ну-ка-сь, сдвинь ножку-то! Слабо!

Посмеивается. Грызет семечки.

Петька хватается обеими руками за толстую ногу, упирается, как в столб, теребит круглые, твердомясые пальцы, с плоскими, как миндаль в заварном тесте, ногтями.

— Чорт толстомясый, чего лезешь? К тебе жа не лезут?

Злится: на силу Никиткину негодует и на бессилие свое.

Непоколебима упористая лапа. Над пальцами, на загорелой грубой коже складки — трещины.

Слоновья ступня.

Хнычет Петька:

— И все лезет, все лезет! Пусти, говорят! Помнеть стошки! Ники-и-тка! Пусти-и жа!

Петька бьет бессильным сухоньким кулачком по круглой твердой ноге Никитки.

— Пальчик-то отогни, один хоша! Двум рукам! Гы-ы-ы!

Посмеивается. Лузгает семечки. Толстые, блестящие, точно маслом смазанные щеки выпирают так, что глаз не видать.

— Пусти, толсторожий! Никитка! Пусти жа!

— Гы-ы! Моська! Понатужься, авось согнешь пальчик-то! Ну-ка-ся! „Ой, дубинушка!“. Гы-ы-ы!

Отирает губы увесистым, коричневым кулаком.

Натешился.

Петька выпрямляет, разглаживает карточки.

— Измял, вот! Ладно же! Пристает всегда! Его не трогают!

Никитка зевает, потягиваясь.

— С чего ты, Петька, такой прыштик, понять не могу! С ногой с моей не совладать, с пальчиком, Петь, а?

— Ладно! Смейся! Тебе харя дозволяет! Морда, что у слона у настоящего! — огрызается Петька, засовывая за пазуху карточки.

— Ну дак что, как у слона! Зато я здоровенный, а ты прыштик. Я с тобой что захочу, то и сделаю, а ты со мной — ничего.

Никитка схватывает Петьку за шиворот и пригибает к земле:

— Вона! Вся твоя жизня тут!

Но все эти грубые издевательства против прежних Никиткиных жестокостей для Петьки — что хлеб с маслом.

Ожил Петька. Повеселел и даже порозовел.

Против прежнего не житье ему, а масленица.

Веня с Рыжим подружился. И не потому лишь, что Рыжий Тольку побил и за Петьку, затравленного Никиткою, заступался.

Другое что-то влекло его к новому товарищу.

И ухарству Рыжего, перед чем благоговела славновская мелкота, краснобайству его прибауточному особенной цены Веня не придавал.

Наоборот, больше нравился Рыжий, когда молчаливо слушал Толькины рассказы или когда стружки подметал в мастерской хозяина своего, столяра Ивана Кузьмича Гладышева.

Но особенно теплотою какой-то веяло, когда вспоминал Рыжий по весне как-нибудь о Нарвской заставе:

— Травка теперь. Парнишки, поди, купаться скоро начнут. Весело, хорошо у нас, за Нарвской. Будто родные все промеж себя.

И, в тон скомороший впадая, сплевывал сквозь зубы:

— Чорт, Кузьмич корявый! Угораздило сюда ехать жить. Сменял кукушку на ястреба.

И запевал горестно-шутливо:

Прощай, ты, Нарвская застава,
Прощай, ты, Веников трактир!

Этот Веников трактир нравился Вене, трогал даже. Точно в честь его, Вени — Веника, трактир назывался.

Роднил его с Нарвской заставой, которую, не зная, любил почему-то Веня.

— А в праздники! Эх, мать честная! Скобари наши партиями так и шалаются с тальянками. „Ломака" впереди всех разоряется.

Рыжий передавал в уморительных картинах пение загулявших „скобарей", кривляние „ломаки" — запевалы:

Шел я лесом,
Видел беса,
Бес в чугунных сапогах! —

дребезжал голос Рыжего.

— А тальянка, что змея — во, извивается!

Кувыркается, ломаке подражая, по земле ожесточенно ладонями прихлопывает, топчет брошенную на́земь шапку, взвизгивает:

— И-и-и, жаба, гад ену! Змей ползучий!

В восторге — ребятишки.

Особенно толстый Никитка.

— Гы-ы-ы!

Ржет жеребенком. Щеки от смеха трясутся, выпирают, глаз — не видать.

Потом — драки скобарей:

— По черепам — песоцЫной! Тростями железнЫми — в коклетЫ искромсают, ей-ей!

И не может Веня понятЬ, что хорошего в диких этих РЫжего рассказах, но слушает, затаив дЫхание.

А иногда РЫжий запевал с искренней грустЬю:

Недалеко от Нарвской заставЫ,
От почтамта версте на седЬмой,
Там, обрЫтЫй глубоким каналом,
Для рабочих приют дорогой!

И представлялась Вене шоссейная дорога, убегающая вдалЬ от ТриумфалЬнЫх заставских ворот, между домами, где люди все, как родные!

И казалось, что здесЬ, в Славновом доме, нет у него, у Вени, родных, а там они, за Нарвской.

И просил тогда РЫжего:

— Пойдем к вам, за Нарвскую, погулятЬ!

РЫжий ласково, как никогда, хлопал Веню по плечу:

— Пойдем, брат, Веник, обязателЬно пойдем!

И добавлял еще ласковее:

— Ты, Веник, изо всех ребят отменнЫй. ТолЬко тихой болЬно. Надо позубастее бЫтЬ. Без зубов, брат, никак невозможно, Съедят безо всякого гарниру.

За Нарвскую Веня попал совершенно неожиданно для себя.

Как-то зимою, вскоре после рождественских каникул, в воскресенье, Рыжий сказал Вене:

— Пойдем сейчас за Нарвскую! Обязательно сейчас нужно! — серьезно говорил и взволнованно.

— Надо спроситься дома, — начал было Веня, но Рыжий перебил:

— Не просись, не пустят.

— А может-быть пустят!

— Брось! Знаю! Я тоже не спрашивался своего корявого.

Веня еще мялся, но товарищ внушительно повторил:

— Обязательно сейчас!

По дороге Рыжий с таинственным видом сообщил, что сегодня Путиловский завод и вся вообще Нарвская застава идет к царю с прошением.

— Значит, брат, надо итти и нам. Что же, мы своих оставим, что ли? Верно, Веник? Ведь вся Нарвская пойдет! Наши столяры которые, чуть светок ушли.

— Да ведь я же не нарвский, — покраснел почему-то Веня.

— Ты вроде как бы нарвский тоже.

Далее Рыжий стал рассказывать, что рабочие решили говорить царю о своей жизни.

— Наш брат, рабочий, вроде как при крепостном праве, живет,—говорил Рыжий, очевидно, не свои слова.—Знаешь, как при помещиках давно еще крепостная жизнь была? Людей, как скот, продавали, драли розгами.

— А теперь же не так! Теперь все свободные. Царь-освободитель освободил,—перебил Веня, но Рыжий хмуро сказал:

— Освободитель! Много ты знаешь! Мы вот как-нибудь сходим к братеннику к моему, путиловский он. Он те расскажет про твоего освободителя-то.

— Какой он мой?—обиделся Веня.—Он меня не освобождал.

— Он никого не освобождал,—хмуро оборвал Рыжий.

Потом долго молчал. Шли торопливо по незнакомым Вене улицам.

Утро было холодное, ветренное. Холод пощипывал уши и носы.

— Сядем на конку,—предложил Веня, которому было очень холодно:—у меня есть деньги.

— Догонит, так сядем,—согласился Рыжий.—Только где ей догнать!

Действительно, шли долго, но конка не догоняла, и ни один вагон не попадался навстречу.

— Не ходят конки чего-то, — задумчиво сказал Рыжий.—Пойдем, брат, скорее! Сейчас вот Нарвский проспект, а там и площадь и ворота.

— Эге, брат! — сказал Рыжий, когда вышли на площадь. — Вот те и раз! И фараонов-то!

На широкой площади гарцовали всадники, и грелись у костров солдаты.

Вене стало беспокойно при виде расположившихся, как на войне, солдат.

— Пойдем назад! — тихо сказал Веня.

— Куда назад!?— сердито спросил Рыжий и пошел, несколько замедлив шаг, по направлению к Нарвским воротам.

Но конный городовой издалека махнул рукою в белой перчатке:

— Не пропущают! — глухо сказал Рыжий.

— Пойдем назад! — повторил Веня.

— Э, погоди, брат, — вдруг встрепенулся Рыжий, — я знаю, как пройти. Через Екатерингоф, в Волынку. Ай-да, братишка!

Бегом, через скрипучий деревянный мост, потом по широкой, в гору, дороге.

— Это — Волынка, — торопливо сообщал Рыжий, — а сейчас — по Болдыреву переулку и за Нарвскую. Я, брат, здесь все ходы и выходы знаю. Завяжи глаза — и найду, честное слово!

Через минуту были на шоссе, за Нарвской.

Было страшно.

Огромная толпа, несколько секунд назад бодро идущая шаг за шагом, с пением молитв, с хоругвями — стала черной стеною.

Лишь колыхались хоругви, и несколько человек тянули еще слова молитвы.

И вдруг, в морозном, точно притихшем воздухе резко и тревожно запела труба.

И едва смолкла — загрохотало что-то, словно гигантский молот запрыгал по камню.

Толпа задвигалась, прокатился по рядам ропот.

— Стреляют! Стреляют! — болезненный где-то крик.

Потом опять — молот по камню.

— Веник, сюда! — кричал Рыжий. За каменным столбом, похожим на могильный памятник без креста, залегли Рыжий и Веня.

А грохот — чаще и чаще.

И бледными вздрагивающими губами выкрикивал Рыжий тяжелые ругательства.

— Надо опять в Болдырев! — шепнул он, наконец, Вене. — Скорее! Голову не поднимай, а то подстрелят, сволочи!

Уже к Волынкиной деревне когда подходили, Рыжий, догнав торопливо идущего Веню, остановил его, дернув за рукав:

— Погодь!

— Чего ты? — спросил Веня, остановившись.

— Погодь, — тихо, точно слюну глотая, промолвил Рыжий.

Веня смотрел на него и ждал.

И тот, казалось, ждал.

Потом махнул рукою и отвердевшими, словно застывающими губами, проговорил чуть слышно:

— Веник, видал? Ведь убивали. А? Веник? Ведь позаправду стреляли.

Рот раскрыл, как рыба на берегу. С трудом вдохнул в себя воздух.

Веня испугался. Ему показалось — Рыжий ранен.

Но тот оправился.

Сплюнул, выругался тяжело и злобно, как мужик.

Нахлобучил ушастую шапку и сурово бросил:

— Пошли!

VI

ОТТЕПЕЛЬ

Расстрел рабочих, ходивших с петицией к царю — небывалое еще в Питере событие нашло отголосок и среди детворы Славнова дома.

Мнения и симпатии разделились.

Толька, а с ним и Никитка стояли за солдат, полицию — за царя.

Очевидцы кровавого события: Рыжий и Веня, находящиеся еще под свежим впечатлением виденного, отстаивали правоту рабочих и негодовали на зверство правительства.

— Сколь, небось, ребятишек без отцов остались сиротами, — говорил Рыжий. — Хорошо бы тебе было, если бы твоего батьку убили?

— А зачем они шли? — отвечал вопросом же Толька. — Ишь, чего захотели: с царем разговаривать! Разве это можно?

— А почему нельзя? Царь такой же человек.

— Такой да не такой. А если бы его убили? Он вышел бы разговаривать, а тут: бац! — из револьвера, — горячился Толька. — Мало там было разных студентов да жидов переодетых.

— Конечно, — поддерживал своего „господина“ Никитка. — Они для этого, небось, и шли: „Боже, царя храни“, а сами — с леволь-вертами.

— Никаких леволь-веров и не было. Ведь мы с Веником видели. Их стреляют, а они на колени стали и молитвы поют. Нешто за это можно стрелять?

Никитка сопел, видимо колебался, но Толька насмешливо замечал:

— Значит, можно, когда стреляли.

— Дурак ты опосля этого и сволочь! — сердился Рыжий. — Когда люди безоружные, конечно, стрелять не страшно, а только это не правильно.

Он окончательно выходил из себя и угрожающе говорил:

— Ладно! Все равно это так не пройдет. Соберутся потом все рабочие, да как начнут трепать этих твоих фараонов да генералов!

— Ничего! — поддразнивал Толька. — Хватит на них пуль-то. Из пушки как выпалят, тут твои путиловцы, что тараканы, запрячутся. Ха-ха!

— Гы-ы! — вторил Никитка. — Это верно, много ли им надо, ежели из пушки.

— Ладно! И на них пушки найдутся, — не сдавался Рыжий. И обращался к Вене: — Верно, Веник?

— Верно, — соглашался тот, хотя не верил, что у рабочих найдутся пушки.

Была оттепель.

Капало с крыш, как весною. На дворе дымила снеготаялка.

Мальчики играли в снежки: Толька с Никиткою против Вени, Леньки и Петьки.

Сначала игра шла почти ровно, но потом слабый Петька и неумелый Ленька стали сдавать.

Вене почти одному пришлось защищаться против двух сильных противников.

Осыпанный снегом, с ноющей скулою от крепкого Никиткиного снежка, Веня стал отступать.

Слабо поддерживавший Ленька все промахивался.

Петька выбыл, утибленный снежком в глаз.

Победители с радостными криками загнали противников в угол двора.

Ленька закрыл лицо руками и не оборонялся.

— Вали! Бей путиловцев! — вдруг закричал Толька. — Пли!

Снежок больно ударил Веню по носу. Из глаз пошли слезы.

— В кучу их! — радостно заржал Никитка.

Веня не успел опомниться, как Толька схватил его и бросил на кучу снега.

— Сдаешься? — торжествующе крикнул, насев на Веню.

Веня силился подняться, но глубже проваливался в снег.

Тяжелый Толька навалился всем телом.

Никитка, в свою очередь, подмял под себя слабосильных Леньку с Петькою.

Веня слышал плаксивый голос Петьки:

— Никитка жа!

И озлобленный — Леньки:

— Пусти, чорт!

— Сдавайсь! — ржал Никитка.

— Не сдавайся, братцы! — закричал Веня и снова сделал отчаянную попытку освободиться от Тольки.

Но Толька придавил его так, что тяжело стало дышать.

Поймал Венины руки, сжал в своих широких сильных руках, разбросил в стороны.

Задышал прямо в лицо:

— Ну что? Много ли тебе надо? Сдаешься?

— Не... нет! — с трудом выговорил Веня.

Увидел, как нахмурился Толька. Розовые, с ямками, щеки вздрогнули. И вздрогнула нижняя пухлая и выпяченная вперед губа.

— Сдавайся!—запенившимися губами произнес Толька и до боли сжал Венины руки.

Подщуренные глаза зазеленели. „Злится“ — подумал Веня и внезапно озлился сам.

— Пусти! — крикнул предостерегающе и злобно.

— Не пу....

Толька не договорил.

Веня, приподняв голову, быстро, крепко впился зубами в круглую плотную Тольку щеку.

Почувствовал соленое на губах.

Толька вскрикнул, отпустил Веню. Отскочил, держась рукою за щеку.

— Ты — кусаться? Девчонка!

Веня поднялся. Стоял, точно чего-то ожидая.

Толька тоже ждал.

— Драться хочешь? — спросил тихо.

Веня не ответил. Случайно взгляд его упал на копошащуюся на снегу кучу тел.

Толстомясый Никитка навалился на Леньку и Петьку, натирая им лица снегом.

Веня сделал шаг, но Толька схватил его за руку:

— Не лезь! Не твое дело! Какой заступник!

Веня вырвал руку, но в тот же момент ощутил тупую боль в скуле.

Голова закружилась. Едва удержался на ногах.

А Толька опять взмахнул рукою. Веня увернулся. Удар пришелся в плечо. Бросился на Тольку.

Опять боль в скуле.

И, вдруг, услышал:

— Веник, бей!

Звонко отдался этот крик в ушах. Радость от этого крика. „Рыжий", — подумал Веня.

А Толька отступил на шаг. Смотрел на Веню в упор зелеными дикими глазами и вдруг громко крикнул:

— Никитка! Брось тех! Рыжий!

Рыжий уже подходил.

В одной рубашке, в опорках на босу ногу, в шапке с ушами.

Примял шапку.

— Братцы, кройі — крикнул пронзительно.

И, точно ожидали этого крика, все трое, и Веня и Ленька, еще не успевший отдышаться после могучих Никиткиных объятий, и плачущий заморыш Петька — все бросились на Тольку и Никитку, уже стоящих рядом.

Но силы были не равные: два силача уже сбили с ног Леньку и Петьку.

Те вскочили, но снова были сбиты.

— Эх, братцы, плохо! Разве так надо?— крикнул Рыжий.

Двенадцать рук замелькали. Двенадцать ног заскользили на гладком оттаивающем снегу.

С каждым ударом Рыжий вдохновлялся.

Кулаки его невидимо взлетали. Опорок соскочил с одной ноги. Так и не надел его.

— Бей, братцы! Веник! Молодец!

Веня разбил Никитке нос.

Никитка бестолково размахивал руками, пытаясь поймать Веню за руки.

Но Веня увертывался от его страшных лап.

И бил и бил по окровавленному противному толстому лицу.

Толька держался долго, но после двух под-ряд резких ударов Рыжего, оставивших на сытых розовых Тольких щеках темно-красный знак, —Толька, отскочив в сторону, засунул руку в карман и, поспешно вытащив перочинный ножик, крикнул:

— Не подходи!

— А, с ножом! — остановился Рыжий.

Драка прекратилась.

Толька и Рыжий стояли друг против друга.

Рыжий надел опорок.

— Резать будешь! — спросил, тяжело дыша.

— Зарежу! — ответил Толька.

— Слышали, братцы? — обратился Рыжий к мальчишкам.

— Слышали!

— Все слышали!

Рыжий сказал тихо:

— Толька, брось нож! Спрячь!

Толька молчал.

Рыжий сделал осторожный шаг вперед. Толька взмахнул ножом.

Рыжий сдернул с головы шапку и внезапным движением наотмашь ударил шапкою по ножу, а другой рукою схватил Тольку за горло.

—Петька подхватил упавший нож.

Рыжий ударил Тольку по носу. Потекла кровь. Толька закрыл лицо руками.

— Довольно? Наелся? — спросил Рыжий и добавил: — Надо бы тебе за нож все зубы повышибить, сволочь!

Толька тихо отошел, вынул из кармана платок и медленно, вдоль стены, отправился со двора на улицу.

— Гулять пошел! — хихикнул Петька.

— Моцион ему нужно обязательно, — сказал Рыжий серьезно.

Потом обратился к Никитке, продолжавшему утираться:

— А ты чего, чудак, завсегда за него пристаешь? Морду накрасили? Хорошо? Вы, ребята, теперь чуть-что — мне говорите. Мы их расчешем, как полагается. А ты, Петька, ножик евонный возьми и ежели он, али вот этот чорт полезут — режь прямо!

— Ей-богу, резать буду! — вдруг заговорил Петька, захлебываясь. — Это что же такое? Этот Никитка чуть-что — в морду! Вот сегодня все брюхо раздавил, дьявол толстозадый! Посичас больно. Что я ему подданный, что ли?

— Слышь, Никитка? Не стыдно тебе, все маленьких забиждаешь. Погоди! — погрозил Рыжий пальцем. — С тобою я еще по-серьезному поговорю.

— Я больше не буду Петьку трогать... — глухо сказал Никитка.

Засопел. Заморгал глазами.

— Это Толька меня все поджучивает.

— Толька? А у тебя своей головы нет? Теперь, чтобы Тольку баста слушаться, понимаешь?

— Понимаю, — прогудел Никитка—Я с им больше водиться не буду.

Он вдруг подошел к Петьке, вздрогнувшему от неожиданности, и протянул огромную красную лапищу:

— Ты, Петь, не сердися. Я больше тебя не трону, — конфузливо проговорил.

Петька опасливо поглядел на своего вечного мучителя и протянул сухонькую грязную ручонку.

— Ладно, помиримся.

— Вот, теперь у нас одна компания,— засмеялся Рыжий.— Давно бы так! Будто у нас, за Нарвской, ей-ей! Веник, слышь, у нас, за Нарвской все дружные! Эх, братцы!

Он снял шапку, почесал затылок.

Веня чувствовал радость. Смеяться хотелось и вместе плакать, Рыжего поцеловать.

Подошел уже к нему, но устыдился.

— Ты — чего? — пытливо взглянул на него Рыжий.

— Ничего!

Веня подумал. Вздрогнувшими губами промолвил:

— Ты — хороший...

— Пока сплю — хороший, ничего,— засмеялся Рыжий.

Спохватился:

— Бежать надо! Хозяин заругается, я ведь выскочил на скору руку. В окно увидал, как ты с Толькою хлестался. Думаю: „Изувечит парня". Вот и прибежал.

Схватил снежок, запалил в стену, побежал, скользя опорками.

Была оттепель.

Капли веселее, звончее дробились по обледеневшему снегу.

Не верилось, что на дворе — январь.

И небо чистое, голубое, омытое, словно — не январское.

Ленинград.
Январь—февраль, 1924 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр

I. В доме Славнова 3

II. Толька и Тонька 13

III. Злая сказка 39

IV. Посрамленный идол 55

V. Новая страница 65

VI. Оттепель 80

Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“
Ленинград, ул. Герцена, 15. Телефон 217-79
Москва, Лубянский пассаж, 46—49. Телефон 2-24-09

Русская художественная литература

Айзман, Д. — Избранные рассказы. (Печатается).

Буданцев, Сергей. — Японская дуэль. Рассказы. Стр. 214. Ц. 1 р. 35 к.

Грин, А. С. — Брак Августа Эсборна. Стр. 135. Ц. 80 к.

Журба, Павел. — Волчья балка. (Печатается).

Инсаров-Вакс, М.—Мои документы. (Печатается).

Козаков, Михаил. — Мещанин Адамейко. Повесть. Стр. 257. Ц. 1 р. 50 к.

Коробов, Яков. — Земляная порода. Повести и рассказы. Стр. 167. Ц. 1 р. 15 к.

Лавренев, Б. — Ветер. Рассказы. Изд. 3. Стр. 167. Ц. 1 р.

Его же. — Рассказ о простой вещи. Стр. 107. Ц. 50 к.

Его же. — Шалые повести. Стр. 135. Ц. 85 к.

Луговой, А. — Два бунта. (Печатается).

Михайлов, Семен. — Мариэтта Бидон. (Печат.).

Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“
Ленинград, ул. Герцена, 15. Телефон 217-79
Москва, Лубянский пассаж, 46—49. Телефон 2-24-09

Русская художественная литература

Раковский, Леонтий. — Зеленая Америка. Повести и рассказы. Стр. 179. Ц. 1 р. 40 к.
Пильняк, Б. — Заволочье. Стр. 141. Ц. 90 к.
Его же. — Корни японского солнца.
Ким, Р. — Ноги к змее. Стр. 186. Ц. 1 р. 50 к.
Полонская, Е.—Поездка на Урал. Стр. 114. Ц. 80 к.
Семенов, Сергей. — Наталья Тарпова. Роман. (Печатается).
Его же. — Предварительная могила. Стр. 196. Ц. 1 р. 20 к.
Тверяк, Алексей. — Чудаки. Рассказы. Стр. 141. Ц. 90 к.
Форш, Ольга. — Московские рассказы. Стр. 96. Ц. 75 к.
Четвериков, Дм. — Бурьян. Повести. Стр. 189. Ц. 1 р. 10 к.
Его же.—Госпожа Идеология. Рассказы. Стр. 48. Ц. 20 к.
Его же.—Малиновые дни. Стр. 226. Ц. 1 р. 50 к.
Чумандрин, Михаил. — Родня. Повесть. („Новинки Пролет. Литер.“). Стр. 170. Ц. 1 р.

ЦЕНА 55 КОП.

ТОРГСЕКТОР ИЗД-ВА „ПРИБОЙ"
ЛЕНИНГРАД: УЛ. ГЕРЦЕНА,
ДОМ № 15. ТЕЛЕФОН 217-79, 217-78.
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
ЛУБЯНСК. ПАСС., 46—49. Т. 2-24-09.
ОТДЕЛЕНИЯ: В РОСТОВЕ-Н/ДОНУ.
ХАРЬКОВЕ, КИЕВЕ, СВЕРДЛОВСКЕ, НОВГОРОДЕ, ЧЕРЕПОВЦЕ
И В УЕЗДНЫХ ГОРОДАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00034972138